



Н. И. УЛЬЯНОВ

Национализм Толстого (1972)

«В России властвовали, избивая и мучая людей, то Иван IV, то шальной, зверский, жестокий, выхваленный Петр с своей пьяной компанией, то безграмотная распутная девка Катька, то немец Бирон, любовник глупой бабы, считавшейся императрицей, то немка Анна, любовница другого немца, то распутная девка Елизавета, потом распутная из распутных немка, мужеубийца Екатерина “Великая” II, то полубешеный Павел, то отцеубийца, лгун, ханжа Александр, то глупый, грубый, жестокий солдат Николай, то слабый, неумный и недобрый Александр II, то совсем глупый, грубый, невежественный Александр III. И все эти жалкие люди... возводятся в герои, гении, благодетели человечества. И вот, царствует теперь невежественный, слабый и недобрый Николай II со своими иконами и мощами, устраивает бесцельную, бессмысленную погибель миллиардов рублей и сотен тысяч людей на Дальнем Востоке». Этот «обзор» русской истории найден среди не напечатанных при жизни Льва Николаевича Толстого его бумаг *. В русофобской литературе XIX—XX вв. он мог бы занять видное место. Но часто говорят: цари и правящий слой — это-де не вся Россия; существовала другая, именовавшая себя «прогрессивной»; ее-то, может быть, и любил Толстой?

Толстой ее знал, но не только не любил, а презирал и ненавидел больше, чем царизм. В романе «Воскресение» идущие на каторгу и в ссылку революционеры показаны в самом неблагоприятном свете. Борьбу революционной интеллигенции с самодержавием Лев Николаевич называл борьбой двух паразитов на

* Юбилейное Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Т. 36. С. 463. — *Примеч. авт.*

здоровом теле. Все ее лозунги, декларации, программы считал он вздором, не нужным и не понятным народу, а террор, бомбы, пистолеты — преступлением. «Вы говорите, что делаете все это для народа, — спрашивал он, — но ведь вы сами знаете, что все это ложь, что вам дела нет до народа. Вы и не знаете и не любите его».

Стимулом революционной и всякой оппозиционной деятельности он считал свойства самые неблагоприятные — праздную жизнь, тщеславие, зависть, корысть, низость и ничтожество натуры. Упрекает он интеллигенцию в невежестве, лицемерии, в сухости сердца, жестокости и в полной зависимости от чужого разума. Она не выработала «ни одной *своей* мысли, ни одного *своего* вывода из *своего* наблюдения, умея только рабски повторять то, что говорят европейские интеллигенты-паразиты».

Дают ли право приведенные здесь высказывания говорить о «национализме» Л. Н. Толстого, объявленного «писателем национальным в самом истинном и всеобъемлющем значении этого понятия»? *

* * *

Слово «национализм» ныне — одно из самых употребительных и самых неясных. В нем множество смысловых и эмоциональных оттенков, от простой любви к родине до дикого «нацизма». В общем значении оно стало употребляться, преимущественно в русской литературе, с начала 80-х годов прошлого века и укоренилось стараниями либеральной публицистики. Наивысшее свое заострение получило в социалистической печати, как «идеология и политика буржуазии» в ее противопоставлении «пролетарскому интернационализму». На Западе, где оно родилось, такой окраски у него не было. Здесь под ним разумелась не «реакционная идеология», а «state qualities or fact of belonging to a nation as by nativity or allegiance» **, как сказано в словаре Webster'a, или как «devotion to or advocacy of national interest or national unity and independence» ***.

Аналогичное толкование находим во французских словарях. Там национализм определяется как «*preference déterminée pour*

* Горький М. Лев Толстой. — *Примеч. авт.*

** Государственные качества или факт принадлежности к нации по рождению или преданности (*англ.*).

*** Преданность или защита национальных интересов или национального единства и независимости (*англ.*).

се qui est propre á sa nation» *. Владимир Соловьев полагает, что слово это выдвинуто английской политической терминологией, где оно обозначало первоначально стремление ирландцев к автономии.

Можно ли это западное слово, лишенное «идеологического» смысла, выразившее простую принадлежность и любовь к отечеству, найти у Толстого? Это не так легко. Во всех своих небеллетристических произведениях Лев Николаевич бывает до того сбивчив, противоречив, непоследователен и часто нелогичен, что ясно установить его взгляды не всегда возможно. Термин «национализм» у него почти не встречается. Но это не должно сбивать с толку; полной заменой ему служит всюду фигурирующий «патриотизм». Употребляется он в резко отрицательном смысле, в значении шовинизма, джингоизма, и если бы Лев Николаевич прожил еще четверть века, он, может быть, заменил бы его словом «нацизм». Несмотря на ненависть и презрение к либерально-революционной интеллигенции, он сходилась с нею во враждебном отношении к «патриотизму-национализму». «Зверское чувство», «чреватое величайшими злодействами», «ужаснейший пережиток варварских времен, не имеющий никаких ни оснований, ни оправданий», — вот его характеристика. Это не естественное устроение народа, а результат внушения, продукт правительственной политики. Все правительства мира старательно его воспитывают.

Обращаясь к «людям-братьям... от царя до рудокопа и от африканского кафра до англосаксонца», Толстой умоляет не верить тому, «что говорят и будут говорить о благодетельности и добродетельности патриотизма, лежащего в основе большей доли самых ужасных бедствий человечества». «Добродетельного» патриотизма не существует, он всегда — зло.

Но то же самое утверждали революционеры, космополиты, интернационалисты. Лев Толстой, в унисон с ними, проповедовал отречение от отечества. Любовь к своему народу, к своему государству, подвиги, во имя их совершенные, считал «не высокими и прекрасными, а, напротив, низкими и дурными». Как вся «прогрессивная» интеллигенция, он был врагом тогдашней, прежде всего русской, государственности, вел против нее пропаганду и делал это едва ли не с большим ожесточением, чем интеллигенты. Всякое государство рассматривал как «нечто враждебное, отвратительное, совершенно лишнее и ни на что не

* Определившееся предпочтение всего того, что свойственно собственной нации (*фр.*).

нужное», «как шайку насильников». Человек, чье назначение — служить Богу и всему человечеству, не должен признавать себя членом одного какого-либо государства. В разговоре с Горьким Лев Николаевич назвал себя однажды «анархистом». По форме его высказывания о государстве и государственной власти были, в самом деле, анархическими. Многих это вводило и продолжает вводить в заблуждение, особенно если принять во внимание ловкость, с которой «прогрессивный» лагерь пользовался в своих целях авторитетом Толстого. Он был сущим кладом для него. Выходившие из-под его пера антиправительственные статьи, памфлеты печатались и распространялись людьми совсем не толстовского склада. Если цензура не пропускала их, они печатались нелегально, часто за границей, и тайно провозились в Россию. Делалось это, несмотря на всю вражду Толстого к революции и революционерам.

* * *

Но никакого единомыслия между ними на самом деле не было. Революционеры так же презирали его учение, как и он их. Ленин называл его «хлюпиком». Даже в вопросах патриотизма существовала между ними значительная разница. Сказав, что «добродетельного» патриотизма не существует, Лев Николаевич сделал оговорку: не существует теперь; в прошлом он был. Теперь он ничем не оправдан, но были времена, когда имело место «чувство, спланивавшее людей для защиты своих семей, слабых людей для защиты от жестокого врага, готового убивать беззащитных, надругаться над женщинами». Тогда «патриотизм был нужен».

Тщетно, однако, доискиваться каких бы то ни было указаний на хронологию эпохи «добродетельного патриотизма». Лев Николаевич сделал из нее величайший секрет. Лишь глухо и всего несколько слов сказано в одном месте, что было это «тогда, когда не было еще христианства». Понимать ли это как время до Рождества Христова или как дохристианский период в истории каждой отдельной страны — неизвестно. Между тем русским читателям Толстого важно было бы знать, когда совершился в их стране переход от подлинного патриотизма к «зверскому чувству» — в скифо-сарматские времена или на тысячу лет позднее, с момента крещения Руси? Здесь, как и во многих других случаях, Толстой абсолютно безответствен и противоречив. Придумав патриотические дохристианские времена, он не смущаясь нарушает свою же историософию, констатируя факт существования

«добродетельного патриотизма» в эпоху ярко выраженного христианства — в годы завоевания турками Византии и Балканского полуострова. Тут, оказывается, патриотизм опять был «нужен», и в подвигах знаменитых Карагеоргиевичей усмотрен высокий «смысл». Но когда во дни самого Толстого, в 70-х годах прошлого века, турки устроили жестокое избиение славян, когда даже англичанин Гладстон написал возмущенный протест против турецкой резни, Лев Николаевич пришел к заключению, что в данном случае патриотические подвиги, подобные подвигам Карагеоргиевичей, «были бы смешны, если бы не были так ужасно зловредны». Не проникнув в самую сердцевину толстовского учения, трудно понять, почему «зловредна» не резня, а противопавление тех, кого режут.

«Сердцевину» толстовства можно определить как своеобразную религию, именующую себя христианством, но отрицающую божественную сущность Христа, исходящую только из его учения, из Евангелия. Правда, и Евангелие кое в чем подверглось исправлению; Лев Николаевич «отредактировал» его по-своему. Самым существенным во всем христианстве он считает братскую любовь друг к другу и видит в ней спасение мира. Если бы она воцарилась на земле, жизнь стала бы прекрасной, никаких «социальных преобразований», никакого иного «светлого будущего» не надо было бы. Но для торжества такой любви нужно полное устранение вражды и зла из человеческих отношений. А зло и вражду нельзя побеждать злом и враждой. Только любовью.

Отсюда знаменитая проповедь непротивления злу. Пусть вас бьют и режут — отвечайте гонителям кротостью и незлобием. Увлеченный идеей непротивления, Толстой доходит до утверждения, будто с тех пор, как христианство посеяло в сознании людей семена всеобщего братства, патриотизм из положительного явления превратился в бич человечества, стал источником ненависти и недоброжелательства. Уже сейчас, по его словам, «ни один из христианских народов не угрожает убийством и насилием над людьми другого народа и все люди признаются братьями». Зачем же еще патриотизм? Писалось это в эпоху кавказских, крымских, франко-пруссских, балканских, испано-американских, англо-бурских, русско-японских войн.

Но особенное отличие толстовских взглядов от социалистических видно из отношения их к патриотизму малых народностей, задавленных крупными государствами. «Левая» общественность всегда брала его под защиту. Буры пользовались симпатией всей Европы, когда их завоевывали англичане. То же было с поляками, босняками, герцеговинцами. Но для Толстого патриотизм

буров и поляков ничем не отличен по своей природе от патриотизма их врагов. Он откровенно высказал это в 1908 году в статье «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» и, еще ярче, в послании «Славянскому съезду в Софии» в 1910 году. Приглашенный на этот съезд, но не поехавший туда по нездоровью, он отозвался на приглашение письмом. Признавая в этом письме важность объединений с точки зрения борьбы, он тем не менее всякие соединения славян в целях противодействия насилию считал злом; они ведут неизбежно к совершению того же насилия над их врагами. Объединяются они для того, «чтобы сначала противодействовать насилию, а потом совершать его». Закончил он свое письмо так: «Должно не содействовать всем таким частным соединениям, а всячески противодействовать им». Отвечая на письмо одной польской женщины, он признается, что разделение Польши возбуждало в нем всегда величайшее негодование, но единственное спасение для поляков он видит в том, «чтобы поляки перестали считать себя поляками, а считали себя братьями всего человечества». Русские, австрийцы, прусаки властвуют над поляками не в результате разделов Польши, «а только потому, что польские люди, не признавая закона любви, включающего непротивление, соглашаются совершать или готовы совершать над своими братьями те самые насилия, на которые они жалуются и от которых страдают и, обманывая самих себя, участвуют в парламентах, оправдывающих эти самые насилия».

«Люди, не борющиеся с насилием и не принимающие участия в нем, так же не могут быть порабощены, как не может быть разрезана вода. Они могут быть ограблены, лишены возможности двигаться, изранены, убиты, но они не могут быть порабощены». В назидание скептикам, насмешливо относившимся к таким рассуждениям, Толстой пишет «Сказку об Иване-дураке и его двух братьях». Там, как во всех русских сказках, Иван женится на царской дочери и становится царем. Ни индустрии, ни торговли, ни интеллигентного труда в его царстве нет. Одно земледелие. Сам царь пашет землю, как простой мужик. Нет у него ни налогов, ни чиновников, ни полиции, ни войска. «У кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки». Таков был обычай.

И вот пришли к нему и говорят:

— На нас тараканский царь войной идет.

— Ну что ж, — говорит, — пускай идет.

Перешел тараканский царь с войском границу, послал передовых разыскивать Иваново войско. Искали, искали — нет войска. Ждать-пождать — не окажется ли где? И слуха нет про то войско, не с кем воевать. Послал тараканский царь захватить

деревни. Пришли солдаты в одну деревню — выскочили дураки, дуры, смотрят на солдат, дивятся. Стали солдаты отбирать у дураков хлеб, скотину; дураки отдают и никто не обороняется. Пошли солдаты в другую деревню — все то же. Походили солдаты день, походили другой — везде все то же: все отдают — никто не обороняется и зовут к себе жить. Скучно стало солдатам, пришли к своему тараканскому царю. «Не можем мы, — говорят, — воевать, отведи нас в другое место; добро бы война была, а это что — как кисель резать. Не можем больше тут воевать». Рассердился тараканский царь, велел солдатам по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлеб сжечь, скотину перебить. «Не послушаете, — говорит, — моего приказа — всех, — говорит, — вас расказню». Испугались солдаты, начали по царскому указу делать. Стали дома, хлеб жечь, скотину бить. Все не обороняются дураки, только плачут. Плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята.

— За что, — говорят, — вы нас обижаете? Зачем, — говорят, — вы добро губите? Коли вам нужно, вы лучше себе берите.

Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежалось.

Эта христианско-анархическая утопия написана, видимо, как образец идеального общественного устройства. «Русским людям, для того чтобы исполнить то великое дело, которое предстоит им, надо не только заботиться о политическом управлении России и об обеспечении свободы граждан русского государства, но прежде всего освободиться от самого понятия русского государства, а потому и от заботы о правах граждан этого государства». Толстой предлагает русским жить, как они всегда жили, своей земледельческой мирской общинной жизнью и без борьбы подчиняться всякому, как правительственному, так и неправительственному насилию, но не повиноваться требованиям участия в каком бы то ни было правительственном насилии, не давать добровольно податей, не служить добровольно ни в полиции, ни в администрации, ни в таможене, ни в войске, ни во флоте, — ни в каком бы то ни было насильническом учреждении. Точно так же, и еще строже, надо крестьянам воздерживаться от насилий, к которым возбуждают их революционеры.

* * *

Любовь к населению всего земного шара логически исключает особенную любовь к родине, к своему народу. У человека, проповедующего такую всемирность, не должно быть иной родины,

кроме вселенной, и иного народа, кроме человечества. Толстой так и говорит: «Любовь к отечеству могла быть добродетелью в нехристианском мире, в христианском же мире все без исключения, все люди — братья и потому всякая исключительная любовь есть не добродетель, а грех».

Трудно в истории мировой литературы найти писателя, подобного Льву Толстому, у которого бы чувства и поведение находились в таком противоречии с его учением. Будучи гениальным писателем, он отрицал литературу, развенчивал и поносил театр, но писал пьесы для театра; отрицал музыку, но жить без нее не мог; отрицал медицину, но имел домашнего врача.

Все это необходимо иметь в виду, приступая к уяснению какой-либо из сторон его личности или творчества. Можно ли, как в данном случае, для уяснения его «национализма» ограничиться одними учительскими сентенциями о патриотизме, не пытаясь заглянуть в самую натуру писателя с целью установить степень совпадения его иррациональных чувств с провозглашаемыми им идеями? Наблюдается ли у него, например, неприязнь к чужим народам и странам? Ведь национализм чаще всего и ярче выражается именно в такой неприязни. Надо совершенно определенно сказать, что тут у Толстого никакого расхождения между чувствами и идеями не наблюдается. Он не видел ничего, кроме глупости, в народе, который, считая себя лучше других, усваивал высокомерный взгляд на всех остальных. В противоположность Достоевскому, не любившему ни французов, ни немцев, ни, особенно, поляков, он не питал ни малейшей неприязни даже к такому историческому врагу России, как Польша с ее тысячелетней старопанской ненавистью. Не помня старого зла, он видел только жалкое положение ее в XIX веке и вполне искренно ей сочувствовал. Это отразилось в беллетристических произведениях. Повесть «За что?» с ее трагедией ссыльной польской семьи после восстания 1830—1831 годов проникнута глубоким состраданием к несчастным.

Но, несмотря на все это, у Толстого не было к иностранцам такого же отношения, как к своим. Сколько бы ни призывал он к всеобщему братству, своя рубашка была ближе к телу. Чувство «чужого», «не своего» сидело в нем достаточно глубоко. Выражал он его, конечно, не в «поучениях», а либо в разговорах и письмах, либо в романах и рассказах.

«Что же общего между нами и французами? — сказал он однажды М. Горькому. — Они чувственники: жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ».

Такое же чувство «не нашего», чужого слышится в возгласе Наташи Ростовой, любимой героини Льва Николаевича: «Разве мы немцы какие-нибудь?..» Это в сцене эвакуации дома Ростовых при приближении французов к Москве, когда встал вопрос — вывозить ли графское добро или бросить его, а все повозки отдать для вывоза раненых? Оставить на гибель этих солдат, защищавших отечество, и заняться спасением своего имущества — это не русская черта, так могли поступить, по мнению Наташи, только немцы. И так, конечно, думал Толстой. Немецкая натура выступает у него часто как антитеза природы русской. Таков «честный и очень аккуратный немец» Барклай де Толли¹. Он не только хороший генерал, но и русский патриот, но узкорассудительный, мелкорасчетливый и чересчур точный, он непригоден, по мнению Андрея Болконского, для роли главнокомандующего в такой войне, как «отечественная». «Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек». В литературе давно отмечено, что рассуждения князя Андрея — это рассуждения самого Толстого. Они не имеют ничего общего ни с ксенофобией, ни с тем обывательским патриотизмом, который охватил русскую знать в 1812 году и который так простодушно проявился в письме Жюли Друбецкой: «Я вам пишу по-русски, мой добрый друг, потому что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать, говорить». Жюли Друбецкая, светская дама, с детства привыкшая тараторить по-французски, а на своем родном языке говорившая как иностранка, — типичное порождение галломании русской знати, распаркивавшейся перед всем французским, а тут вдруг резко сменившей это обличье на франкофобию. Эта публика нашла в Толстом своего беспощадного сатирика.

Но есть в «Воине и мире» герои и эпизоды, идущие от нутра автора. Таков случай с княжной Марьей Болконской. После отъезда брата и смерти отца, когда она осталась одна в своем имении, душевное ее состояние можно определить как полную прострацию; ей было все равно, что с нею случится с приходом французов. Стоило, однако, мадемуазель Бурьени показать ей возвание французского генерала Рамо и начать уговаривать княжну не уезжать, а остаться в Лысых Горах, уверяя, что французы не сделают ей ничего худого, как национальная гордость пробудилась в несчастной девушке. «Все, что только было тяжелого и, главное, оскорбительного в ее положении, живо представилось ей. «Они, французы, поселятся в этом доме; господин генерал Рамо займет кабинет князя Андрея; будут для забавы

перебирать и читать его письма и бумаги... Мне дадут комнатку из милости; солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды; они мне будут рассказывать о победах над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю...» Поскорее ехать!..

Был ли это «добродетельный патриотизм» или «зверское чувство» — Толстой не рассуждает, но по тому, как он описан, мы не сомневаемся, что чувства княжны Марьи — это его собственные чувства. То же надо сказать и про описания волнений князя Андрея накануне Бородинского сражения. Думая, что ему все равно, возьмут или не возьмут Москву, как взяли Смоленск, он «внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, схватившей его за горло». Оказалось, что судьба Москвы вовсе не так уж ему безразлична. Это немцы Клаузевиц и Вольцоген², чей разговор Андрей нечаянно подслушал, могли теоретизировать насчет борьбы с врагом с помощью русских пространств, «не принимая во внимание потерь частных лиц». Их рассуждения для князя Андрея были бесстрастными рассуждениями чужеземцев. «In Raum-то у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах». Клаузевицу и Вольцогену это все равно. «...Эти господа немцы... всю Европу отдали *ему* и приехали нас учить — славные учителя!» По его мнению, с врагами, которые «разорили мой дом и идут разорить Москву, оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду», надо поступать по-неприятельски. «Они враги мои, они преступники все по моим понятиям... Надо их казнить». Он предлагает не брать пленных. Где здесь хоть малейший отголосок идеи «всеобщего братства», «единения во Христе»? Есть ли тут хоть намек на проповедь непротивления злу и покорности насилию царя тараканского? Ни малейшего. Но Лев Толстой пишет об этом чувстве как о священном. Воплотившись в другого своего героя, Пьера Безухова, Толстой его устами объясняет нам царившее перед Бородинской битвой настроение русской армии как «ту скрытую (latente), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти».

У литературоведов и у читающей публики давно сложилось представление не об одном, а о двух Толстых. Один — любимый и почитаемый всем миром — автор гениальных повестей и романов; другой — создатель туманной и не вполне вразумительной религиозной секты, не принятой культурным обществом и не пережившей своего творца. Эти два начала творческой личности Толстого взаимно исключают друг друга. Правы те, кто, подобно

М. Горькому, утверждают, что все его романы и повести в корне отрицают его религиозную философию.

* * *

Но даже в этой философии есть противоречие, заслуживающее специального упоминания. Лев Николаевич очень не любил «избранные народы». Всякого рода избранничество, мессианизм вызывали у него брезгливое чувство. По этой причине он резко отзывался о славянофилах, приписывавших русскому народу и Русской Православной Церкви великую вселенскую роль. Тем не менее ему суждено было погрязнуть в том же самом грехе. Правда, в отношении Церкви он до конца продолжал держаться непримиримо-отрицательной позиции, но народ русский представлял в нимбе такой святости и приписывал ему столь великое предназначение, что превзошел в преклонении перед ним Достоевского и славянофилов.

Это может показаться странным и противоречивым после резких отзывов его о России, но не надо забывать, что речь там шла об официальной, правительственной России. Шестидесятническая мода проводить резкую грань между Россией царской и народной принята была и Толстым. Предметом его величайшего поклонения и соболезнования стала Россия народная. Нет числа выражениям его скорби по поводу бед и насилий, совершаемых над «кротким, мудрым, святым и так жестоко и коварно обманутым русским народом».

Не помещицье и торговое сословия, не правительственная «шайка насильников» и не «интеллигенты-паразиты» имелись тут в виду, а крестьянство — вечный труженик, страдалец и тысячелетняя опора Российского государства. Все лучшее в этом государстве заключено в мужике. Недаром Лев Николаевич старался во всем походить на мужика — пахал землю сохой, косил сено, одевался в простую мужицкую рубаху (ныне прозванную «толстовкой»). Но любил он этот народ не за то, что он русский, а за то, что он крестьянский. Святость мужика выводилась из его земледельческой природы, ибо земледелие «составляет самое нравственное, здоровое, радостное и нужное занятие — высшее из всех занятий людских». Тут опять «философия», и опять неоригинальная, навеянная трудами американского экономиста и политического деятеля Генри Джорджа, книга которого «Social problems» произвела на Льва Николаевича особенно сильное впечатление. Это у него он вычитал мысль: «Только земледельцами и могут быть все люди». Под его влиянием создавалась толстовская

концепция: «Род человеческий состоит только из земледельцев. Все остальные люди: министры, слесаря, профессора, плотники, художники, портные, ученые, лекари, генералы, солдаты — суть только слуги или паразиты земледельцев». Соответственно с этим и в России сто миллионов пахарей составляет такое абсолютное большинство, что может быть названо всем русским народом.

Россию он любил как страну хлебопашескую и в этом смысле — передовую. Русские стоят «на несколько веков, может быть, впереди Европы» в смысле разрешения аграрной проблемы. Только они обладают истиной, «которая неизбежно, рано или поздно, но все-таки наверное должна будет быть признана всем человечеством». Заключается она в том, что «живущие на земле люди не могут не иметь одинакового равного права на пользование ею». Частное владение землей преступно; Господь Бог сотворил землю не для одного лица, а для всего человечества: «Земля Божья», — говорили русские мужики, и за ними повторяли это народники-социалисты, молившиеся на крестьянскую поземельную общину. Разуверившись в европейской революции, во всем западном социализме, они преисполнились подлинной гордостью при виде уже существовавшего в России социализма, каковым считали крестьянскую поземельную общину. Герцен простить не мог ни себе, ни славянофилам, что не они и не русские вообще открыли эту общину, а немец Гакстгаузен³. К концу XIX века народническая интеллигенция потерпела, как известно, крах своих иллюзий. Трудями историков и экономистов доказан был не только архаический, вредный для самого крестьянства характер общины, но установлена правительственная, а не народная инициатива в ее возникновении. Толстой не мог не знать этого, но продолжал гордиться общинным землевладением как особым выражением русского духа. С этих позиций он и возражал против столыпинской реформы. Врожденный коллективизм русского человека он усматривал даже в его языке. Мужик на вопрос, откуда он, отвечал: «*Мы* не здешние, *мы* калуцкие». «Одного русского человека, — говорит Толстой, — почти никогда нет (разве когда он делает что-нибудь плохое, тогда — я). А то семья — *мы*, артель — *мы*, общество — *мы*». «Как не радоваться, живя среди такого народа, как же не ждать всего самого прекрасного от такого народа?»

«Самое прекрасное» в нем — не богатство, не сила, не образованность, а то, чего у других народов нет, — душа. Такой души нигде не найдешь. Севши за свою бедную трапезу, русский мужик не может не пригласить за стол нищего, зашедшего в этот момент в избу. «Сам за стол сядешь, — говорил мне старик хозя-

ин, — нельзя и его не позвать. А то и в душу не пойдет, и покормишь и чайком напоишь». «И как все истинно добрые дела, крестьяне не переставая делают это, не замечая того, что это доброе дело». «Каждый день в нашу деревню, состоящую из 80 дворов, приходят на ночлег от 6 до 12 холодных, голодных, оборванных прохожих... Десятский, для того чтобы эти люди не умерли на улице, разводит их по местным жителям... И хозяин принимает этого голодного, холодного, вонючего, оборванного, грязного человека и дает ему не только ночлег, но и кормит его». Даже у людей черствых, закосневших в стяжательстве, в грубом эгоизме, теплится в душе какая-то искра, вспыхивающая порой таким пламенем любви и сострадания к ближнему, что они при виде гибнущего человека забывают о себе и жертвуют для его спасения собственной жизнью. Таков богатый «кулак» в рассказе «Хозяин и работник». Простая русская натура, чуткая к чужому страданию, более других способна и к раскаянию после содеянного преступления. В рассказе «За что?» казак Данило Лифанов доносит начальству о загадочном пассажире тарантаса, который ему приказано было сопровождать до Саратова. В тарантасе был ящик с гробами детей, которые пани Мегурская хотела вывезти на родину после смерти мужа, сосланного в Зауралье за участие в восстании 1830 года. Но казак, убедившись, что в ящике находились не гробы, а живой человек, заподозрил преступление. Когда же полиция обнаружила там мужа пани Мегурской, придумавшего вместе с женой такой способ бегства из ссылки, и когда перед казаком разыгралась сцена отчаяния Мегурской, он «сорвал с себя шапку, швырнул изо всех сил наземь, откинул ногой от себя Трезорку (собаку) и пошел в харчевню. В харчевне он потребовал водки и пил день и ночь, пропил все, что было у него и на нем». Проснулся на другую ночь в канаве.

Подобную же реакцию испытал палач, повесивший студента-террориста в рассказе «Божеское и человеческое». Он был убийца-каторжник, и звание палача давало ему относительную свободу и роскошь жизни, но с этого дня от отказался впредь исполнять взятую на себя обязанность и в ту же неделю пропил не только все деньги, полученные за казнь, но и всю свою относительно богатую одежду и дошел до того, что был посажен в карцер, а из карцера переведен в больницу.

Совершенно очевидно, что знаменитая *âme slave* выступает у Толстого как *âme chrétien*. В ней живет то христианское чувство, что является залогом пришествия всеобщего братства на земле. Тут и признание равенства всех людей и народов, и полная веротерпимость, и неосуждение преступников, и милосердие, и ува-

жение к нищенству, и готовность жертвовать всем во имя религиозной истины. У богатых, цивилизованных такие чувства не живут.

Вот первая и, может быть, самая главная национальная гордость Толстого.

С особой экспрессией выразил он ее в предисловии к альбому картин Н. Орлова⁴. Свою любовь к этому посредственному, давно забытому художнику Лев Николаевич объясняет тем, что предмет его картин — любимый предмет Толстого. «Предмет этот — русский народ, не тот народ, который побеждал Наполеона, завоевывал и подчинял себе другие народы, не тот, который, к несчастью, так скоро научился делать машины, и железные дороги, и революции, и парламенты со всеми возможными подразделениями партий и направлений, а тот смиренный, трудовой, христианский, кроткий, терпеливый народ, который вырастил и держит на своих плечах все то, что теперь так мучает и старательно развращает его». В картинах Орлова Толстой видит душу этого народа, «которая, как в ребенке, носит еще в себе все возможности и главную из них — возможность, миновав развращенность и извращенность цивилизации Запада, идти тем христианским путем, который один может вывести людей христианского мира из того заколдованного круга страданий, в котором они теперь, мучая себя, не переставая, кружатся».

Читая эти и подобные им строки, нельзя не видеть, что общественно-политическое мышление Л. Н. Толстого ни в чем не противоречит основным чертам той распространенной идеологии, которую принято именовать, в широком смысле слова, «славянофильской». Наиболее характерные особенности ее сводятся к противопоставлению России Западу, духовных основ русской жизни — западной цивилизации, русской души — западной сухости и черствости. Россия ближе к Христу, чем Запад. Толстой, безусловно, шел также тропой, проложенной Тютчевым — западником по культуре, по вкусам, по образу жизни. Знаменитое его четверостишие ясно слышится в толстовских сентенциях.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя⁵.

Другой «западник», Герцен, благодарил судьбу за то, что русскому народу удалось избежать европейской цивилизации и всех западных политических движений, благодаря чему он имел возможность сохранить общину. «Община спасла русский народ от

монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии» *.

Можно было бы набрать целый букет подобных высказываний. Даже в советском периоде русской поэзии звучат порой славянофильские ноты. В стихотворении Б. Пастернака «Духу родины» читаем:

Пусть у врага винты, болты,
И медь, и алюминий.
Твоей великой правоты
Нет у него в помине⁶.

Здесь такое же противопоставление России Западу, такая же «правота» ее по сравнению с ним и то же превознесение ее духовности над материальной культурой.

Доказывая религиозное превосходство русского народа перед Западом, Толстой прибегал иногда к курьезным доводам, вроде того, что католическим народам до Реформации Евангелие было недоступно, так как писалось по-латыни, тогда как русские «во всем их огромном большинстве» уже с X века могли читать его на родном языке, вследствие чего «христианское учение в его приложении к жизни не переставало и до сих пор продолжает быть главным руководителем жизни русского народа».

Учение Толстого здесь не критикуется и не комментируется, а только излагается. В нашу задачу не входит ставить его перед судом исторической науки, не признающей примата русского христианства перед христианством Запада. Проходим мимо и продолжающейся до сих пор защиты этого тезиса религиозными философами типа Бердяева. Необходимо лишь подчеркнуть, что неоригинальность Толстого проистекает от воспринятой им и усвоенной старинной ноты русской национально-церковной идеологии, обозначившейся еще в допетровские времена и получившей литературное завершение в XIX веке. Не одни славянофильские рацы, но и голоса старомосковских книжников слышатся в толстовских превознесениях русского мессианства, несущего преобразование мира, потому что «наиболее по нашему времени истинное понимание жизни было и есть еще у русского безграмотного мудрого и святого мужицкого народа». Он один способен одержать победу над драконом всемирной розни, стоящим на пути установления всеобщего братства.

* Герцен А. И. Русский народ и социализм. — Примеч. авт.



Через все творчество Л. Н. Толстого проходит нота превознесения добра, правды и простоты. Качества эти он склонен считать русскими по преимуществу. С ними теснейшим образом связана у него идея величия. Понять ее легче всего, обратившись к образам героев «Войны и мира» — Наполеону и Кутузову. Толстого часто упрекали за то, как преподнесен в этом произведении Наполеон. Большинство упреков исходило от русских, особенно от Мережковского. Толстому приписывали намеренное развенчание Наполеона, и стимул видели в национальной неприязни. Ни личной, ни национальной неприязни не было, был особый, «толстовский» взгляд на войну и на роль полководцев. Лев Николаевич невысоко ценил тех военных предводителей, которые не подходили под его мерки. А театральные позы и фразы Наполеона, подчеркивание им своей персоны никак не подходили. В них Толстой видел спортивное, славолобное отношение к военному делу, отсутствие морально-этического и общественно-го его оправдания. «Никогда, до конца своей жизни не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого». Каждую победу Наполеон приписывал своему искусству, между тем как Толстой в победах и в поражениях видел неуловимую логику военных действий, независимую от направляющей воли полководцев. Ход войны и сражений, подобно ходу мировых событий, «предопределен свыше». По Толстому, он «зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и влияние Наполеона на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное».

Толстой расценивал полководцев не по степени усвоения ими военной науки, а по глубине понимания стихии войны.

Описание Бородинского сражения начинается у него с ошибок, допущенных той и другой стороной в выборе позиций и в составлении планов. Битва развернулась совсем не так, как предусмотрено было накануне, и протекала не так, как хотели командующие. Полководцы оказались в положении созерцателей, а не руководителей боя. Но в то время как Кутузов не придавал особого значения ни планам, ни расчетам, Наполеон видел в этом главную свою задачу. Он продиктовал знаменитую диспозицию сражения, которая, по словам Толстого, «не могла быть и не была исполнена». В день сражения император только делал вид, что руководил битвой. Кутузов тоже делал диспозиции сражения, и

такие же плохие, но смотрел на это как на неизбежную дань форме и устоявшимся традициям. Дело войны он понимал глубже, особенно войны национальной, где борьба идет за жизни и достоинство своего народа, своей родной страны.

Роль духа в такой войне ставил он выше гениальных маневров. Для Наполеона война была шахматной доской; для Кутузова — таинственной стихией. Гений Кутузова противопоставлялся гению Наполеона как раз в этом пункте. Он был носителем высшей стратегии, исходящей не от военных трактатов и сочинений, а от интуитивного постижения хода исторических событий, борьбы двух гигантских империй. По словам Толстого, Кутузов давал Бородинское сражение при самой неблагоприятной обстановке для русских войск. Неудачно выбранная позиция обрекала их на полный разгром. И если в день 26 августа 1812 года этого разгрома не последовало, если Бородинское сражение было первым, которого Наполеон не выиграл, то только потому, что Кутузов вместо удачной позиции противопоставил врагу фактор более могущественный — дух и стойкость русской армии, в которых он был уверен и которые знал, не в пример Барклаю и Беннигсену. «Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти». Чуждый генеральского гонора и надутого величия, Кутузов рисуетя одаренным такой глубиной понимания военной стихии, которой нет у Наполеона. И, как всякий человек глубокого знания, он прост, не претенциозен и далек от малейшей напыщенности и аффектации. В этом Толстой видит подлинное величие. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».

* * *

Никаким «националистом» в теперешнем политическом смысле Толстой не был. Если он любил Россию, если видел в русском народе будущего творца всеобщего братства, то он бесконечно далек от таких выражений национального чувства, которые встречаем у некоторых европейских народов: «Подобно тому как немецкая птица — орел летает выше всякой твари земной, так и

немец должен чувствовать себя выше всех народов, окружающих его, и взирать на них с безграничной высоты» *.

Такого «орлиного» полета у яснополянского философа никогда не было.



* *Zombart. Händler und Helden. S. 143. — Примеч. авт.*⁷